

СТЫД И СОВРЕМЕННОСТЬ*

Джон Брейтуэйт^х

Если для контроля над преступностью решающее значение имеет внушение чувства стыда, не являются ли тогда безнадежными попытки контролировать преступность в современном обществе? В данной работе мы утверждаем, что любой пессимизм такого рода необходимо сопоставлять с более широким пониманием стыда в истории человечества. Вначале в статье рассматриваются выводы, к которым пришел Элиас, утверждавший, что по мере упадка феодализма стыд обретал все бóльшую важность в структуре человеческих аффектов. Элиас не обращается к тому смещению от стыда к жестокому наказанию, которое обозначилось в контроле над преступностью низших классов в XVII-XVIII веках. Кульминацией этого периода стал очевидный провал клеймения и карательного произвола, что открыло путь идеалам реинтеграции, получившим поддержку в викторианскую эпоху, а также и за ее пределами. И, наконец, отталкиваясь от идей Гоффмана, мы переходим к утверждению о существовании во многом забытых возможностей, которые делают внушение чувства стыда более мощным именно в городе, а не в деревне. В общем и целом, отсутствие силы внушения стыда не является в индустриализированных обществах структурно неизбежным фактом и модернизация вовсе не ведет нас неумолимо по пути к обществу, в котором стыд не принимается в расчет.

В нашей недавно вышедшей книге «Преступление, стыд и воссоединение» (Braithwaite 1989) предлагается теория, в соответствии с которой низкий уровень преступности должен отмечаться в таких государствах, где внушение чувства стыда имеет наибольшую социальную силу. То же верно и для тех периодов истории, когда наиболее эффективно осуществляется контроль над преступностью. Чтобы внушение чувства стыда достигало своей максимальной действенности, оно должно сторониться клеймения, а характер внушаемого чувства должен быть в свою очередь воссоединяющим. Клеймение – это такое внушение чувства стыда, которое создает изгоев, делая характеристику «преступник» основной статусной чертой индивида, вытесняя все остальные его идентичности. При таком внушении стыда узы взаимного уважения правонарушителя и других лиц не сохраняются. В отличие от этого, внушение чувства воссоединяющего стыда представляет собой осуждение, выражаемое в рамках непрерываемых отношений, основанных на уважении. Это такое внушение стыда, где в центре находится зло совершенного поступка, а не неисправимая порочность человека, где за церемониями снижения статуса следуют церемонии снятия девиантного обозначения, где прощение,

* Brit. J. Criminol. Vol. 33 No 1 Winter 1993. Перевод Хариковой Н.

^х Исследовательская школа социальных наук Австралийского Национального Университета; Американский фонд адвокатов.

Автор выражает благодарность анонимному рецензенту и в особенности Сюзанн Карстедт и Дэвиду Гарланду за неоценимую помощь в усовершенствовании данной рукописи.

принесение извинений, раскаяние несут в себе с культурной точки зрения особое значение. Основная идея, которую здесь я отстаивать не буду, заключается в том, низкий уровень преступности наблюдается в тех обществах, где внушение чувства стыда за преступное поведение является мощным и одновременно развивается по воссоединяющей модели.

Большинство из нас воздерживается от совершения убийства и подобных преступлений, не потому, что взвешивает возможные выгоды и последствия, связанные с тюремным заключением или электрическим стулом, но потому, что убийство просто не стоит у нас на повестке дня как вопрос, требующий рационального расчета. Убийство является для нас невысказанным способом разрешения жизненных проблем. Ключ к предупреждению преступности лежит в понимании того, что создает эту «невысказанность». Мой ответ таков: не клеймение, но внушение воссоединяющего стыда. Клеймение может оказаться контрпродуктивным, увеличивая для отверженных привлекательность криминальных субкультур. А вот уж что делают криминальные субкультуры, так это предлагают символические ресурсы, которые позволяют превратить невысказанное в высказанное.

Урбанизация постулируется в нашей теории в качестве одной из структурных переменных, ослабляющих коммуитарность, делающую возможным внушение чувства стыда. В то же время мне сразу же хочется ограничить любой излишний детерминизм в этом отношении, напомнив о низком уровне преступности в Токио и указав на возрастающую силу внушения воссоединяющего стыда и снижающийся уровень преступности, отмечавшиеся в викторианскую эпоху, которая была периодом невиданной доселе урбанизации (Braithwaite 1989: 11-18). Циники, сомневающиеся в значимости моей теории, ухватились за вопрос урбанизации и индустриализации. Всякий раз, когда я провожу семинар по «Преступлению, стыду и воссоединению», кто-нибудь из аудитории обязательно поднимается и произносит что-то вроде следующего: «Я, конечно, признаю, что характер внушаемого стыда представляет важность для понимания значительных различий в уровне преступности разных стран. Но практические выводы вашей теории в смысле возможностей реагирования на преступность незначительны. Они сводятся к призыву повернуть время вспять и вернуться от «Gesellschaft» к «Gemeinschaft» [Tönnies 1887], от урбанистического к традиционному обществу [Redfield 1947]. Но урбанизация и индустриализация суть явления необратимые, и в теории, которая представляет собой лишь романтический призыв вернуться в ушедшую коммуитарную эпоху, практического смысла нет». Назначение этой статьи в том, чтобы продемонстрировать, что такое типичное замечание отражает упрощенное видение стыда в истории человечества. То видение, которое я собираюсь вместить в несколько следующих страниц, будет лишь немного более сложным. Это понимание будет ограничено западной историей, хотя я и подозреваю, что размышления над японской и китайской историей или историей австралийских аборигенов позволило бы представить более интересную трактовку. И все же сколь бы ограниченным оно ни было, я надеюсь, оно станет первым шагом на пути того, что криминологи возьмут за обыкновение мыслить о стыде исторически.

Вначале я намереваюсь обратиться к объяснению расцвета стыда в западной истории, данному Норбертом Элиасом. Затем я буду утверждать, что Элиасу не удалось заметить некоторые важные исторические тенденции в развитии влияния стыда, имеющие обратный характер. Он также упустил из виду тот факт, что расцветавший пышным цветом социальный контроль над низшими классами был основан на насилии, а не на стыде, в то время как в социальных отношениях высших классов возрастала именно роль стыда. Для того чтобы подчеркнуть основную мысль об отсутствии развивающейся по мере модернизации однонаправленной исторической тенденции к социальному контролю, основанному на стыде, или от него, мы показываем, каким образом характер взаимозависимостей в современных урбанистических социальных отношениях может в реальности увеличить, а не снизить нашу подверженность и восприимчивость к стыду.

Процесс цивилизации

Наиболее важной работой в области стыда в западной истории является двухтомный труд Норберта Элиаса «О процессе цивилизации». На немецком языке книга была опубликована в 1939 году, на английском первый том появился в 1978, второй – в 1982 году. Я должен признаться, что не читал этой книги, когда работал над «Преступлением, стыдом и воссоединением», о чем жалею, ибо анализ стыда, предлагаемый Элиасом, во многом перекликается с моим, к тому же немецкий социолог проводит этот анализ в историческом контексте более широком, нежели тот, на который осмелился посягнуть я. Элиас полагает, что за последние семь столетий стыд все в большей степени обретал главенствующее положение, нежели переживал упадок. В расцвете внушения чувства стыда в качестве доминирующей формы социального контроля сыграли свою роль два взаимосвязанных структурных изменения. Это – становление государства, концентрировавшего в своих руках монополию на физическую силу, и рост разделения труда. Стратегической иллюстрацией этого процесса является превращение по мере монополизации физической силы монархом дворянства из класса рыцарей в класс придворных. Монополизация силы способствовала созданию «умиротворенных» социальных пространств. Прежде чем произошло это «умиротворение», когда насилие было неизбежным явлением повседневной жизни, «сильное и постоянное подавление влечений и аффектов не было ни необходимым, ни возможным, ни нужным» (Elias 1982: 236). В эпоху феодализма, когда высшие слои составлял класс воинов, не только сами воины, но и остальные граждане находились под постоянной угрозой физического насилия. Представители военной аристократии пользовались исключительной свободой, позволявшей им находить удовлетворение своих желаний и страстей в безудержном сексуальном наслаждении, а своих мстительных порывов – в пытках и истязаниях. Это вполне соответствует имеющимся у нас данным о необычайно высоком уровне убийств в средние века (Gurr 1980: 44). Данные свидетельствуют о существовании тенденции к значительному снижению насильственной преступности в Англии, обозначившейся с начала XIII века и сохранявшейся почти до середины XX. Эту тенденцию Гурр (Gurr 1984:

353) относит отчасти к усилению внутренних рычагов контроля, регулирующих насилие (см. также Garland 1990: 233-4). Как пишет Элиас, в XVI столетии необузданная страсть стала в меньшей степени источником власти и в большей – препятствием на пути к ней. Аффективный облик дворянства меняется, по мере того как рыцари становятся придворными при дворе монарха, монополизировавшего право на применение силы. Лабрюйер отмечал: «Придворная жизнь – это серьезная и мрачная игра. Нужно уметь расставлять фигуры, строить батареи, следовать хорошо обдуманному плану и в то же время расстраивать планы противника, порою идти на риск, полагаться на интуицию И после всех обдумываний и ухищрений получить шах или даже мат». (цит. по Elias 1982:270).

Постепенно шпага потеряла свою значимость в борьбе за карьерные успехи, уступив место слову и интригам. Это случилось потому, что двор абсолютного монарха являл собой социальное образование, в котором большое число людей находились в постоянной зависимости друг от друга. Элиас уподобляет двор бирже, где непрерывно формируется мнение о ценности каждого человека. Эта ценность основывается на том, «пользуется ли индивид расположением короля, имеет ли он влияние на других могущественных персон, каков его вес в борьбе придворных клик». От каждого участника игры требуется умение владеть собой и знание остальных игроков, с которыми его связывают отношения взаимозависимости. В этой сложной игре за обретение ценности на дипломатическом рынке «применение физической силы и непосредственное проявление страстей находятся под запретом» (Elias 1982:271). Утрата эмоционального контроля понижает ценность допустившего ошибку в мнении двора, угрожая его положению при дворе в целом: «Человек, знающий двор, всегда владеет своими лицом, взглядом и жестами – он непроницаем. Он скрывает свои недобрые поступки, улыбается врагам, подавляет свой дурной нрав, прячет свои чувства и действует наперекор им» (Elias 1982: 272). Элиас демонстрирует, каким образом аффективная структура класса воинов оказалась обречена благодаря случаям поражения таких смелых и отважных рыцарей, как герцог Монморанси, от виртуозных придворных, как Ришелье (Elias 1982:279). Двор и связанные с ним институты сохраняли свою значительную роль в разрушении насильственной машины феодализма на протяжении нескольких столетий, это верно даже для Англии, где двор раньше, чем на континенте, перестал быть первейшим местом политиканства. В XVIII веке Бо Нэш и его квази-двор в городе Бат сделало местных помещиков более цивилизованными, ускорив исчезновение шпаги в качестве необходимого украшения бедра джентльмена. Как следствие, разногласия все реже стали разрешались при помощи холодного оружия (Trevelyan 1985: 385). У простых людей на смену удару ножом или кинжалом также приходили «цивилизованные» правила честного поединка на боксерском ринге. Но в начале викторианской эпохи даже бокс стал считаться «нецивилизованным» и фактически исчез, чтобы возродиться лишь в двадцатом веке, как изящно выразился Тревельян (Trevelyan 1973: 385), в качестве занятия «по большей части американского» и уже «смягченного перчатками».

«Цивилизаторское» влияние придворной жизни не было таким значительным и всеохватным, как воздействие возникшего позднее буржуазного общества. Для придворного или придворной дамы значение имели только те отношения взаимозависимости, которые связывали их с равными или вышестоящими в иерархической структуре двора. Используя различные книги по этикету и иные источники, Элиас демонстрирует, что они не испытывали стыда под взглядом или при неодобрении нижестоящих. «Принимать нижестоящих, поднимаясь с постели, одеваясь, отходя ко сну, – на протяжении долгого времени было само собой разумеющимся обычаем. О таком же чувстве стыда говорит, например, то, что подруга Вольтера, маркиза де Шатле, приводила в смущение своего камердинера, представляя перед ним нагой в ванне и при этом без тени смущения выговаривая ему за то, что он не долил горячей воды (Elias 1978: 138). Однако Дюрр (1988 *a, b*) в своем двухтомном исследовании ставит под сомнение использование Элиасом исторического материала в этом и некоторых других вопросах (см. также van Krieken, 1989). Дюрр (1988а: 242-52) утверждает, что фиксация этого факта на самом деле предполагает, что поведение маркизы де Шатле в приведенном выше отрывке являлось необычным и потому достойным упоминания. Книги по придворным манерам, на которых основывает свои выводы Элиас, были написаны с морализаторскими намерениями обнажить *отсутствие* манер у придворных и в связи с этим, безусловно, грешат преувеличениями (Garland 1990: 230)¹. По мнению Элиаса, буржуазное общество запустило механизм коренного изменения ситуации, при которой вышестоящим не приходилось испытывать стеснение в присутствии подчиненных. Формирование отношений взаимозависимости с нижестоящими капиталистами, людьми интеллектуальных профессий, рабочими и потребителями (клиентами, которым в соответствии с мифологией капитализма разрешено быть «всегда правыми», пусть они даже располагаются ниже на социальной лестнице) постепенно приводило к тому, что высшие слои могли испытывать стыд и стеснение и перед лицами более низкого положения.

Формирование государства, приводя к появлению обширных «умиротворенных», свободных от насилия сфер, позволяет транспортным, торговым и финансовым путям расширяться в условиях физической безопасности. Таким образом, двор абсолютного монарха не только создает свои собственные отношения взаимозависимости, но и способствует возникновению нового набора буржуазных взаимозависимых отношений. «Рост разделения труда и интенсификация связей между людьми вели к увеличению зависимости тех, кто занимает социально высокое положение, от лиц социально более низкого ранга. Последние настолько приближаются к сильным мира сего, что те, так сказать, начинают испытывать стыд и перед нижестоящими» (Elias 1978:138). Обозначая интересную тенденцию в направлении демократизации стыда, Элиас все же преувеличивает ее. В настоящее время стыд по-прежнему имеет во многом ярко выраженную классовую структуру и очень значительную половую дифференциацию.

¹ Автор благодарит Сьюзанн Карстедт, которая привлекла его внимание к этому моменту.

Офисные работники без стеснения могут позволить себе при секретаре такое поведение, которое они никогда бы не позволили себе в присутствии начальника.

Тот широкий временной горизонт, который удалось охватить Элиасу, поразительно контрастирует с анализом общества в более удобные менее широкие временные рамки, который, как правило, предпринимали криминологи послевоенного периода. Они вечно горюют о росте преступности, который является следствием того, что мы утратили общность и живем в мире, где мнение других имеет для нас меньше значения. Элиас находится в более выгодном положении, потому что относительно кратковременный скачок преступности на Западе не закрывает для него более широкой перспективы, что, отчасти возможно, и позволяет ему видеть в долговременном разрезе рост взаимозависимости, стыда и контроля над агрессивными импульсами. Он рассматривает навыки, необходимые для проезда по дороге, в качестве интересной модели, показывающей, что необходимо для выживания в мире взаимозависимостей в рамках сложного разделения труда. А необходим самоконтроль, который создается стыдом:

Подумаем о лишенных всякого покрытия, ухабистых, открытых дождю и ветру дорогах простого рыцарского общества, в котором господствует натуральное хозяйство. За небольшими исключениями, движение по ним весьма тихое; главная опасность здесь – военное и разбойничье нападение. Осматривая окружающие их деревья и холмы, вглядываясь в лежащий перед ними путь, люди главным образом готовятся в любой момент взяться за оружие и уже в последнюю очередь думают о столкновении с другим транспортом. Пребывание на больших дорогах этого общества требует постоянной готовности сражаться и защищать свою жизнь или собственность от физического нападения. Движение по главным дорогам и улицам большого города в наши дни в нашем сложном обществе предполагает совершенно иное моделирование психического аппарата. Угроза нападения здесь минимальна. Всюду проносятся автомобили, между машин пытаются протиснуться пешеходы и велосипедисты, на главных перекрестках регулировщики – кто более, кто менее успешно – управляют движением. Но весь этот внешний контроль основан на том, что каждый индивид самостоятельно регулирует свое поведение в точном соответствии с потребностями всей системы. Главная опасность, которую человек может представлять для остальных, это возможная потеря им самоконтроля. Для движения индивиду здесь необходимо постоянное и крайне дифференцированное регулирование собственного поведения. Достаточно, чтобы человек не выдержал такого постоянного самоконтроля, чтобы он превратился в смертельную опасность для себя и других.

(Elias 1982: 233-4)

Для Элиаса стыд как не желаемое переживание, порождающее такой самоконтроль, неотлично от вины (см. также Scheff 1990:7). То, что мы сейчас называем виной, и я полагаю, правильно, воспринимается как стыд, когда первоисточники стыда в социальном взаимодействии оказываются забыты или подавляются:

Чувство стыда обретает особую окраску из-за того, что индивид чувствует, что вошел или может войти в противоречие с людьми, с которыми он связан в той или иной форме, с самим собой и тем сектором сознания, который отвечает за самоконтроль. Конфликт, выражающийся в чувстве стыда, является конфликтом индивида не только с господствующим общественным мнением, но и с той частью его «Я», которое репрезентирует общественное мнение.

(Elias 1982: 292)

Элиас считает, что трансформация структуры аффектов знати и замена рыцарской структуры придворной началась в XVI веке и продолжилась в XVII и XVIII. В XVIII-XIX веках эта структура, во многих аспектах измененная, распространилась на буржуазию, а затем – на все классы западного общества. Чем больше дворянство старалось провести различие между своими «цивилизованными» манерами и аффектами и манерами более низших классов, тем больше стимулов озабоченные статусом представители буржуазии имели для подражания *civilité*. Но по сути буржуазия оказалась связана еще в более сложную сеть взаимозависимости, чем дворянство – умениями, необходимыми для успеха, для них еще в большей степени стали восприимчивость к неодобрению со стороны, усвоение норм и изящество в передаче своего неодобрения другим. Как разделение труда при капитализме делает буржуазию зависимой от низших слоев в том смысле, что их неодобрение обретает для нее свою значимость, так и дворянство попадает в экономическую зависимость от буржуазии. К XIX веку стыд становится демократическим чувством.

Уголовное правосудие в качестве средства классового контроля в XVII и XVIII веках

По мере распространения торговли на зоны, «умиротворенные» монополией нового государства на применение силы (свободные от физического насилия), разрастались города и поселения. Эти урбанистические пространства становились местом скопления людей, лишенных средств к существованию. Многие жили преступлениями. Появление таких видимых концентраций криминализованной бедноты способствовало карательному взлету системы уголовного правосудия как инструмента классового контроля. Феодальная система уголовного правосудия была в меньшей степени связана с наказанием и в большей – ориентирована на урегулирование споров между равными (Weisser 1979: 100). По мере становления централизованного государства уголовное правосудие становилось более карательным, превращаясь в инструмент классового контроля. В XVI веке на смену основным феодальным санкциям – штрафам и высылке –

начинают постепенно приходить телесные наказания. На передний план выходит порка, пытки и даже казнь (Weisser 1979: 100-1; о росте использования телесных наказаний в школах см. Stone 1977: 163-5).

Именно в конце XVII и XVIII веке вопрос преступности стал наиболее ярко определяться в качестве проблемы, связанной с городскими низшими классами и требующей наиболее жесткого подавления. В Англии в течение этого периода число преступлений, наказуемых смертной казнью, увеличилось с 50 до более чем 200 (Weiser 1979: 13809; Foucault 1977; см. также Beattie 1984). Критической точкой стали «Черные законы» (Thompson 1975), которые не только расширяли сферу применения смертной казни, но и устраняли процедурные гарантии, как, например, суд присяжных, при рассмотрении многих (совершаемых представителями низших классов) преступлений. С 1650 по 1750 в Голландии также стали более часто применяться наказания, связанные с эшафотом (Spierenburg 1984: 176-7). «Черные законы» были отменены в 1823 году, почти после двухсот лет наиболее жестокого режима уголовного правосудия, служившего классовой войне. На протяжении этих двух веков едва ли существовали какие-либо претензии на *civilité* в обращении с низшими слоями общества (однако см. Spierenburg (1984: 191-265) о растущем отвращении и стыде правящего класса при виде совершаемого ужасного насилия). Воссоединяющий стыд, возможно, и начал вымещать вспышки насилия и неистовые проявления страсти при королевском дворе, в буржуазном обществе, а также в рамках взаимоотношений между ними, однако для низших классов эти два века стали временем наиболее бесчеловечных физических пыток и наиболее сильного клеймения. В XVIII веке, в эпоху Просвещения критики жестокости и пыток в системе уголовного правосудия и сторонники некоторого равенства перед законом – Беккариа в Италии, Монтескье и Вольтер во Франции, Говард в Англии – стали обретать определенное влияние в дебатах относительно уголовного правосудия. В конце XVIII века почти во всей Европе были отменены пытки (Spierenburg 1984: 190). Согласно идеям реформаторов, при отправлении правосудия предпочтение перед телесными наказаниями или казнью должно отдаваться тюрьмам, которым следует быть местом исправления преступников. Должно было не сломить представителей низших классов жестоким обращением, но спасти их, перевоспитать и реабилитировать.

Согласно Фуко (1977), идеологический уход от ужасающих церемоний унижения, призванных свидетельствовать о порочности преступника и отпечатать власть монарха на казнимом теле, произошел по причине того, что подобное свидетельство оказалось повернуто в обратную сторону. В XVII-XVIII веках стыд и бесчестье лежали в основе публичного зрелища пыток и казней, но, безусловно, речь шла о клеймении, а не о внушении воссоединяющего стыда. Воссоединение для раскаявшихся оставляли Всемогущему, уже после того как истерзанный преступник испускал дух. Стыду придавали видимую форму, надевая таблички на приговоренных к публичному унижению посредством пытки. Осужденных заставляли также возвещать мерзость как своих преступлений, так и самих себя. Французский убийца XVIII века Жан-Доминик Ланглед

должен был освятить свое наказание, сказав следующее: «Послушайте о моем ужасном, бесчестном и горестном деянии, совершенном в городе Авиньоне, извергнувшем память обо мне, ибо бесчеловечно нарушил я священные права дружбы» (Foucault 1977: 66). Такое клеймение, однако, часто шло не как предполагалось. Вместо вынужденного раскаяния осужденные зачастую проклинали жестокость судьи и палача и несправедливость, вершимую монархом. В таких случаях толпа довольно часто выражала одобрение, в некоторых случаях даже направляя физическую агрессию на палача (см. также Нанс 1975: 67-8).

В этих казнях, которые должны были демонстрировать лишь устрашающую власть монарха, есть и карнавальный аспект: участники меняются ролями, власть становится предметом осмеяния, а преступники превращаются в героев. Стыд оказывается направлен в обратную сторону. Мужество, как и стоны и крики осужденных лишь ставят под сомнение закон. Филдинг замечает с тоской: «Не так легко объединить идеи стыда и смерти, как можно представить ... Я обращусь к любому, единожды узревшему казнь или шествие к эшафоту, – и пусть мне скажут. Видя несчастного на пороге вечности, бледного и трепещущего в ожидании своей судьбы, думают ли они о стыде или бесчестии? И еще меньше – если человек смело бросает вызов обстоятельствам, в которых оказался» (Foucault 1977: 61).

Казни стали возможностью выражения солидарности с мелкими правонарушителями. Они превратились в церемонии, которые учили массы видеть в уголовном правосудии то, чем оно и являлось – инструментом устрашения, призванным усмирить низшие классы (однако см. Spiereburg 1984: 92-109). В качестве жертвы классовой несправедливости, тирании или произвола осужденный преступник мог теперь быть прославлен как герой: «Он предстал как человек, ведущий борьбу с законом, с богатыми и сильными мира сего, с судьями, полицией и охраной, с налогами и теми, кто их собирает. Было легко отождествить себя с таким человеком» (Foucault 1977: 61).² В это же самое время в Англии суды присяжных отказывались осуждать за незначительные правонарушения, если это могло привести человека к виселице (Trevelyan 1973: 348).

Таким образом исторически подтверждался тезис о том, что клеймение способно порождать субкультуры противления закону. Поэтому и обозначился отход от варварства в отношении к низшим классам, которое расцвело как раз в то самое время, когда среди представителей аристократии развивалось *civilité*. Политику воссоединения следовало распространить и на низшие слои общества. Фуко говорил о двух альтернативах, возникших в XVIII веке. Одна – реинтегрирующий вариант уголовно-исполнительной практики, переопределяющей виновных индивидов в качестве граждан. Вторая – проект

² См. также, как Фуко (Foucault 1977: 260-3) подобным образом объясняет произошедший позднее закат идеи кандалных шествий. Осужденные, скованные одной цепью, пели песни, прославляющие их преступную жизнь, их утомительное шествие по улицам города перестало быть церемонией стыда и бесчестия, но стала церемонией пренебрежения к закону. Поэтому осужденных стали перевозить с закрытых повозках.

тюрьмы, которая была принудительным механизмом власти для муштрования и дисциплинирования тела. В последующей борьбе двух этих идеологий не восторжествовало ни одно из этих видений: в рамках тюремной политики до настоящего момента по-прежнему идет жаркая дискуссия сторонников соответственно идеи реабилитации и принудительной дисциплины.

Очевидно, однако, что идея тела как текста, на котором пытка запечатлевает власть суверена, была опровергнута и идеал реинтеграции обрел движущую силу. Законом 1854 года в Голландии было отменено выжигание клейма на осужденных (Spierenburg 1984: 199), к середине XIX века эта практика исчезла по всей Европе. Гарланд (Garland 1985) не согласен с Фуко в отношении сроков таких изменений, по крайней мере для Англии. Он хоть и отмечает обозначившиеся на заре викторианской эпохи тенденции к смещению доминирующей идеологии от презрения и отвержения преступников к жалости и стремлению перевоспитать их, но временем наиболее решительных перемен в этом направлении, тем не менее, считает период между 1895 и 1914 гг., когда наиболее резкое снижение преступности уже произошло (см. также Forsythe 1991). В Англии, как в большинстве других западных стран, оглянувшись назад в 1930 г., можно было бы увидеть столетие снижения преступности и растущего оптимизма в отношении реинтеграции преступников и криминальных классов в общество, столетие значительного сокращения жестоких проявлений системы уголовного правосудия. В этот период исчезли такие клеймящие и отторгающие формы наказания, как порка и высылка, почти приостановилось применение смертной казни. Число заключенных на 100 000 населения составляло одну седьмую от уровня, отмеченного за сто лет до этого (Ramsay 1982).

Обратимся теперь к викторианской эпохе, которая стала временем, когда были заложены основы не только для торжества стыда, но и, возможно, для торжества политики интеграции над политикой отторжения. Подобное движение продолжалось и при короле Эдуарде, резко обратившись вспять, когда позднее в двадцатом веке стыд был фактически исключен из нашего словаря (Scheff 1988; Lynd 1958), когда постепенно растущий авторитет идеи реабилитации был опрокинут и мы вновь стали строить и заполнять тюрьмы. Классицизм, предшествовавший поздневикторианскому оптимизму и вере в возможность наставить преступников на путь истинный, возродился в неоклассической пенологии: снова возникли идеи воздаяния и наказания, соответствующего преступлению.

Этот материал в широкой исторической перспективе соответствует теории воссоединяющего стыда. До девятнадцатого века, в течение нескольких столетий социальный контроль на Западе основывался на жестокости наказания. Наказание было публичным и не отделялось от стыда, но стыд при этом носил крайне клеймящий характер – он унижал и проводил грань между стыдимым и всеми остальными (Beattie 1984; Spierenburg 1984).³ При этой карательной-клеймящей системе уровень насилия в обществе

³ «Елизаветинская деревня была местом, исполненным злобой и ненавистью, жителей связывали единственно периодические случаи массовой истерии, когда большинство объединялось для разоблачения и преследования местной ведьмы» (Stone 1977: 98).

значительно превышал сегодняшний (Gurr 1980, 1984; Beattie 1984; Stone 1977: 93-102). В XIX и первых десятилетиях XX века система стала менее ориентированной на наказание, а внушаемое чувство стыда – стало более воссоединяющим. И уровень преступности резко понизился (Braithwaite 1989: 114-14). Во второй половине XX века, однако, не только позиции стыда в общем ослабли, но и обозначилось некоторое смещение от стыда воссоединяющего обратно к клеймящему – начиная с шестидесятых годов двадцатого столетия уровень преступности вновь стал расти (Braithwaite 1989: 49). Обратившись в двадцатые годы к викторианской эпохе, можно было бы рассматривать этот период как время постоянного соперничества двух взглядов на решение проблемы представителей опасных классов: перевоспитать их, вернув в общество, или муштровать и обособить (очистить трущобы, находящиеся в недопустимой близости к респектабельным районам). Стремление к интеграции, вероятно, в итоге возобладало. Вот как Стедман Джонс описывает эту борьбу между политикой интеграции и политикой отторжения:

историки, как правило, обсуждали этот вопрос довольно однобоко и телеологически. Ожидая создания общества всеобщего благосостояния, они уделяли основное внимание предложениям о пенсиях по старости, бесплатном образовании, бесплатных школьных обедах, субсидируемом жилищном строительстве и государственном страховании. Эти ученые фактически игнорировали возникавшие тогда же предложения изолировать людей, временно или периодически получающих пособие по бедности, учредить места содержания для «бродяг-тунеядцев», отнять детей бедняков у их родителей-«выродков» и отправить маргиналов за океан. Для людей того времени, тем не менее, эти два вида направления стали составными частями одной и той же дискуссии.

(Stedman Jones, 1984: 313-14)

Викторианскую эпоху можно считать временем, когда политика интеграции постепенно заменила политику отторжения. Это выразилось сначала в форме частных благотворительных организаций, которые пытались сделать бедных людей достойными и заслуживающими уважения гражданами посредством надзора за ними «женщин-сборщиц арендной платы» и других сотрудников этих организаций, а затем в идеологии зарождающегося государства всеобщего благосостояния. Этому сопутствовало и изменение линии уголовного правосудия, которое обретало все более гуманный характер. На микроуровне семьи кульминация движения в сторону реинтеграции еще более заметна, нежели на макроуровне. Как полагают Стернс и Стернс (Stearns and Stearns 1986: 241), в XVII веке доминирующей нормой в воспитании детей было стремление сломить их волю и потакание гневу, обрушиваемому на них родителями. К эпохе

королевы Виктории ситуация коренным образом изменилась (Thompson 1988:127-8, 134). В детях теперь видели предмет для любви и нежности, а гнев и насилие в семейных отношениях стали считаться постыдными. «Книги по семейной жизни начали вбирать в себя специальные запреты на гнев и злобу, что отражало более широкий акцент на привязанностях и взаимных обязательствах родственников» (Stearns and Stearns 1986: 29). Лоуренс Стоун в своем монументальном исследовании «Семья, секс и брак в Англии в 1500-1800 годах» приходит к выводу о неверности заключения о линейном историческом движении от «Gemeinschaft» к «Gesellschaft» в исследуемый им период (Stone 1977: 660). Причина такого вывода в том, что в XVI-XVIII веках семья во многом перестала быть институтом «Gesellschaft» с его безликими, договорными и основанными на принуждении свойствами, обретая в большей степени черты института «Gemeinschaft», переплетенного тесными узами любви.

Появление семьи, социальный контроль в которой основывался на том, что в терминологии моей теории называлось бы воссоединяющим стыдом, полно подтверждается различными свидетельствами о жизни семей аристократии. Однако происходившее в рабочих семьях не столь очевидно. Помимо этого, в семьях высших слоев существовало четкое разделение по половому признаку: социализация девочек основывалась на безусловном контроле над гневом, что было необходимо для сохранения гармонии в семье, мальчиков же учили канализировать свой гнев, ограничивая его выплески внешними каналами. «По мнению основательницы Национального конгресса матерей (США), девочек нужно учить поддерживать покой в доме и бодро смотреть на различные проблемы, тогда как мальчики должны обучаться лишь справедливому негодованию» (Stearns and Stearns 1986: 76). Как в частной жизни в семье (Howe 1976), так и исполняя общественную роль в профессиях, связанных с социальной работой, женщины находились на передовых позициях совершающихся перемен в пользу воссоединяющих модальностей социального контроля.

Таким образом, критики, утверждающие, что понятие воссоединяющего стыда может иметь значение только для деревни периода до промышленной революции, упускают один важный момент. В городе XX века больше семей, социализация детей в которых основана на любви и прививании чувства гордости за хорошие поступки и стыда – за дурные, в отличие от семнадцатого столетия, когда в семьях в большей степени применялось строгое наказание и приемы, направленные на то, чтобы сломить волю ребенка (Beattie, 1984: 41-3; Stone 1977: 6-7). И здесь важно вспомнить следующее: в теории постулируется, что внушение чувства стыда будет наиболее действенно в рамках групп непосредственного взаимодействия (особенно в семьях), где существуют максимальные условия для коммунитарности и взаимозависимые отношения настолько тесны, что одобрение или неодобрение имеет для членов семьи крайне большое значение. Следовательно, если, в сравнении с XVII веком, возможности местного церковного прихода по действенному внушению чувства стыда и иссякли значительно, то возможности семей в этом смысле лишь увеличились (даже учитывая вероятность

некоторого упадка этих возможностей в послевоенный период). Однако даже к подобной трактовке следует относиться с известной долей скепсиса. Пусть церкви и стыдят меньше, чем это было в доиндустриальной деревне, тем не менее со времен Инквизиции церковь постепенно стала более серьезно и внимательно относиться к учению Христа и внушаемый стыд переменял свою клеймящую направленность, становясь все более воссоединяющим.

Однако, если через расцвет воскресных школ и подобных институтов, через семейное воспитание, основанное на любви и через появление профессиональной социальной работы (Wilson and Herrnstein 1985: 432; Thompson 1988) политика воссоединяющего стыда и заняла главенствующие позиции к концу викторианской эпохи, то сохранить их она не смогла. Хотя, безусловно, это наследие заметно и по сей день в политике социального обеспечения, в работе с правонарушителями мерами общественного воздействия и в «местной полиции», к нам все же вернулась уголовно-правовая политика, основанная на клеймении и изоляции. Обозначился сдвиг от вразумляющего социального контроля к социальному контролю карательному. Это верно по крайней мере для социального контроля, ориентированного на преступников-представителей рабочего класса: контролирующие органы в бизнесе, которые имеют дело с преступниками в белых воротничках, по-прежнему предпочитают прибегать к моральному убеждению (Hawkins 1983; Grabosky and Braithwaite 1986). Суть от этого, однако, не меняется: внушение чувства стыда не переживало ни длительного исторического упадка, ни постоянного роста своего влияния. Существовали обозначенные Элиасом тенденции в рамках дворянства и буржуазии и между этими двумя слоями общества к отходу от контроля, осуществляемого посредством физического принуждения, к контролю, основанному на внушении чувства стыда. Элиас, однако, упустил из виду, что контроль над низшими слоями общества, осуществляемый посредством стыда, потерпел крах, уступив место физическому принуждению. Тем не менее столетие, предшествующее депрессии 1930 г., было отмечено важными изменениями, направленными на дальнейшую интеграцию различных слоев общества, что было связано с ростом зависимости высшего слоя от рабочего класса и страха перед ним. «Достойные» представители рабочего класса, безусловно, были включены в основную линию викторианского благочестия. И уже можно было утверждать, что и «недостойная» беднота также должна подвергаться скорее инкорпорирующему («включающему»), нежели изолирующему социальному контролю. В государстве всеобщего благосостояния рабочий класс, конечно, не является больше «опасным» изгоем, отвергнутым рафинированным обществом. Описанная Элиасом растущая внутри высших слоев взаимозависимость в некоторой степени распространилась и на низшие классы. Здесь вполне разумно предположить, что по мере того как в отношениях между двумя классами на смену клеймения приходит взаимозависимость, «межклассовое» внушение чувства стыда обретает бóльшую силу.

Но именно тогда, когда произошли эти изменения, мы стали терять веру в диалог и внушение стыда как метод социального контроля, и наш интерес к экономии и

принудительному социальному контролю разгорелся с новой силой. Стыд оказался *déclassé* в рамках этого обретающего все бóльшую популярность либертарианского взгляда, в соответствии с которым граждане могут осуществлять свободный выбор на рынке товаров, где наказание есть лишь один из таких товаров. Вполне приемлемой стала идея о том, что индивид имеет право нарушать закон, пока он платит за это цену – получает наказание. Если принуждение во времена *ancien régime* было неотделимо от стыда, современное принуждение в значительной мере отделено от него (Braithwaite 1980: 59-61). Таким образом, потенциал стыда используется в меньшей степени.

Взаимозависимость в дифференцированном городском обществе

В «Преступлении, стыде и воссоединении» мы утверждаем, что чувство стыда влияет на индивида сильнее, когда его внушают те, кто имеет для него значение. Следовательно, для людей, которых связывают с другими многочисленные отношения с взаимозависимости, существует больше источников действенного внушения чувства стыда. Несмотря на распространенное убеждение, последнее тысячелетие не характеризуется однонаправленным движением в сторону упадка взаимозависимости. Вот что говорит в этом отношении Тревелиян (Trevelyan 1985: 59-61) по поводу Англии XVII века:

Мужчины и женщины были разбросаны по всему острову, предоставлены самим по себе в многочисленные часы одиночества и изоляции; у каждого, как у одинокого дуба в поле, было пространство для роста и не было необходимости беспокоиться о следовании каким-либо традиционным условностям. «У всякого была своя причуда». Типичная хозяйственная жизнь йомена или мелкого ремесленника того времени менее стесняла его условностями и делала более самостоятельным, нежели средневековая корпоративная жизнь бургера или крестьянина или жизнь современного человека в условиях сложных капиталистических переплетений.

Часто утверждается, что граждане в высоко дифференцированном городском обществе изолированы друг от друга, в отличие от деревни, жители которой традиционно связывали мощные отношения взаимозависимости. Это одновременно и верно и нет. Если рассматривать уровень географического соседства, это верно. Селяне более восприимчивы к стыду, внушаемому соседями, нежели жители города. Однако, если говорить об общем числе взаимозависимостей, по причинам, обозначенным Элиасом, горожанина XX века связывает большее число взаимозависимых отношений, нежели селянина XV века, хотя и меньше, нежели горожан девятнадцатого столетия. Служивцы, друзья по гольф-клубу, завсегдаи одного бара, члены профессиональной ассоциации или родительского комитета в классе дочери, не говоря уже о родственниках, живущих как угодно далеко – кто-то из этих значимых для современного городского жителя людей всегда может выразить свое осуждение, которое будет мощным по своей силе и эффекту.

Фактически город XIX-XX веков полон большим числом взаимозависимостей, просто они не обособлены в рамках одного строго ограниченного географического пространства. Если я задумываюсь о своем собственном месте в системе разделения труда, становится ясно, что пристыдить меня лучше других могут мои профессиональные коллеги, которые живут так далеко от меня, как это только возможно на этой планете. Одобрение Гилберта Гейса значит для меня больше, чем одобрение соседа, живущего напротив.⁴ Сколь бы экзотичны ни были интересы человека, в городе есть условия для того, чтобы на основе этих интересов формировались группы и сообщества. Помимо этого, многие новые взаимозависимости, первоначально считавшиеся привилегией богатых, распространились по всей классовой структуре. Особенно важно, что школы перестали предлагать взаимозависимые отношения лишь ограниченной группе семей правящего класса, постепенно охватив все общество. В спортивных клубах, когда-то являвшихся прерогативой состоятельных людей, теперь состоит большое число представителей рабочего класса.

Один из мифов поздней современности заключается в том, что капитализм якобы базируется на формальных рычагах контроля, исключая неформальный контроль. На самом деле в самом «сердце» капитализма – на Уолл-стрит, в Токио и в лондонском Сити – находится на удивление мощная коммунитарная культура. Эту идею иллюстрирует богатое этнографическое исследование Бурроу и Хельяра (1991), посвященное одному из самых крупных поглощений – борьбе за «Ар-Джей-Ар Набиско». На примере агентства Генри Крависа, инвестиционного банкира, получившего контроль над компанией, в приведенном ниже отрывке демонстрируется важность церемоний воссоединения в сообществе инвесторов Уолл-стрит:

Уолл-стрит – тесный мирок, и в интересах сохранения гармонии Кравис не стал тратить время на то, чтобы залечивать раны, полученные в схватке. На февральских переговорах он помирился с Питером Коэном и фактически нанял Тома Хилла для анализа ситуации с возможным поглощением «Норт Эрлайнс». ... Кравис также наладил отношения с Линдой Робинсон. Вскоре после случая с Герстнером Линде сообщили о звонке Крависа. Она проигнорировала его, и через несколько дней получила небольшую керамическую конурку для собаки и записку, в которой Кравис говорил, что впал в ее немилость, как собака, которую хозяева «сослали» в конуру. Линда Робинсон подождала какое-то время и отправила Кравису десятикилограммовый пакет с кормом для собак. Все прошлые обиды были забыты. Она и Кравис по-прежнему владеют «Триллионом».

⁴ Кроме того, желание услышать одобрение и избежать осуждения способно предотвращать преступность. Проблема ученых, фабрикующие данные, чтобы ускорить свое продвижение по карьерной лестнице, в криминологии остро не стоит, но есть по крайней мере одна дисциплина, где она весьма серьезна и актуальна (Braithwaite 1984: гл. 3).

Потратиться, конечно, пришлось не только на облегчение ран Уолл-стрит... Кравис даже одарил тех, кого, возможно, обидел. «Голден Сакс» Джеффа Бойси получил возможность продать с аукциона «Дель Монте», а «Лазар Фрер» Феликса Рогатина – долю компании в «И-Эс-Пи-Эн». (Burrough and Helyar 1991: 508).

В литературе, посвященной деловой культуре, традиционно признается, что финансовые и коммерческие круги лондонского Сити более коммунитарны, нежели представители бизнеса в Нью-Йорке (например, Wechsberg 1966: 41; Coleman 1990: 109). Действительно, одной из основных идей классического труда Майкла Кларка (1986) о лондонском Сити заключается во многом говорил о существовавшей необходимости переключаться на более формальные методы регулирования, потому что «ковбои и золотоискатели» с Уолл-стрит не всегда понимали, что их допустили в джентльменский клуб, где «слово ценится также, как и контракт».

Вероятно, легче отгородиться от осуждения этих негеографических сообществ современности (достаточно просто перестать участвовать в них), чем спрятаться от неодобрения односельчан. Но порой верно и обратное. Сменив место жительства, нельзя уйти от осуждения своего международного профессионального сообщества; для этого нужно освоить новую профессию и начать новую карьеру.

Современные средства сообщения вместе разделением труда расширяют круг наших взаимозависимостей. Деловые сделки, десятилетия назад совершавшиеся по почте, теперь обсуждаются лицом к лицу – наличие воздушного сообщения приближает участников бизнеса друг к другу, делая их более открытыми «мишенями» для порицания со стороны коллег, что было невозможно ранее.⁵ Средства сообщения важны также для объяснения условий создания и существования различных современных объединений, связанных экзотическими интересами, которые не могли существовать ранее. Если в свободное время я полностью поглощен разведением голубых канареек, велика вероятность того, что в крупном городе с хорошей системой транспортного сообщения, я создам крайне важные для меня отношения взаимозависимости в рамках общества любителей голубых канареек.

Существует несколько аспектов влияния этого разрастания ролей на стыд. С одной стороны, как указывал Дюрр (Duerf 1988a: 10), в доиндустриальных обществах люди имели дело с *целым* человеком, а не (как в наше время) с его *фрагментами*, что могло сделать абсолютными последствия слегка запятнанной репутации. Следует, однако, заметить, что эта мысль имеет максимальную силу, когда речь идет об издержках клеймения. Если же мы говорим о мощи внушения чувства воссоединяющего стыда, которое по определению подразумевает, что человек в целом воспринимается как хороший и лишь часть его поведения осуждается как дурная. Для тех из нас, кто полагает, что клеймение, как правило, является контрпродуктивным, аргумент о том, что в деревне оно может привести к более ужасающим последствиям, не является столь уж

⁵ Автор выражает благодарность Майку Миллеру за эту идею.

ярким. Для нас имеет значение другой аргумент: сам факт клеймения в деревне менее вероятен, поскольку комплексное знакомство с личностью своих соседей в целом делает жителей деревни менее подверженными стереотипным идеям об отторжении девиантов, что вполне нормально для мегаполиса (Braithwaite 1989: 88). Наконец, на мой взгляд, один вопрос остается открытым эмпирическим вопросом: будет ли внушение чувства воссоединяющего стыда со стороны одной группы, от которой индивид зависит полностью, в большей или меньшей степени мощным, чем внушение такого чувства со стороны многочисленных групп, зависимость индивида от каждой из которых определяется важным набором его потребностей?

Сегодняшнее колоссальное разрастание ролей индивида делает его восприимчивость к стыду особенной, характерной именно для мира с таким увеличением числа ролей. Все мы испытываем легкое смущение, когда вступаем в контакт с теми, кого обычно знаем по другим ролям: покупка презервативов в аптеке у бывшего учителя воскресной школы, визит к врачу, который женат на нашей сослуживице, стеснение, мешающее нам наслаждаться приватным ужином с супругой в ресторане, если за соседним столиком сидят наши студенты. Гоффман (Goffman 1955) поясняет, как мы стараемся свести такую неловкость к минимуму, обособляя аудитории в соответствии с разделением ролей. В результате «индивиды, перед которыми человек играет одну роль, не будут теми же, перед которыми он играет другую, что позволяет ему в каждой роли представлять иным человеком, не дискредитируя при этом другие» (Goffman 1956: 269).

На основе интервью с преступниками, осужденными за «беловоротничковые» преступления, Бенсону (Venson 1989), однако, удалось показать, что одно из последствий осуждения заключается как раз в том, что обособление аудиторий становится более невозможным. Самая худшая профессиональная или деловая сторона правонарушителя становится видима людям, к которым он обычно поворачивался другим своим «Я» - верующего, регулярно посещающего церковь, игрока в гольф, отца. Мы создаем себе комфортные условия в мире, включающем множество наших ролей, разделяя аудитории таким образом, что это позволяет нам предлагать разным людям абсолютно разные стороны своего «Я». И именно поэтому в мире с обособленными ролями испытываемый нами стыд является многосторонним и в меньшей степени подлежит нашему контролю. В деревенском обществе аудитории одного индивида фактически не обособлены. Наши соседи знакомы с большей частью сторон нашей личности. Поэтому в случае худшего проявления одной из этих сторон, шок не бывает таким уж сильным. Таким образом, сегментированное «Я» – палка о двух концах. С одной стороны, оно обеспечивает каждодневную защиту от стыда при перемещении между разными группами, исповедующими различные ценности, с другой стороны оно делает нас крайне уязвимыми в случае, если наш дурной поступок получает огласку, и о нем становится известно всем этим группам. Данная уязвимость является наиболее сильной, если речь идет о внушении стыда за преступление, ибо это наиболее публичная из институализированных форм внушения стыда.

Для того чтобы понять, что делает внушение чувства стыда более или менее мощным в сложном индустриализированном обществе, необходимо осознать, к каким последствиям приводит подобная сегрегация ролей. Внушение чувства стыда может обладать большей мощностью, когда, как мы увидели, нам не безразлично, как наши действия в одной из наших ролей воспринимаются теми, кто знает нас по другим ролям. Но внушение стыда теряет силу, когда мы погружаемся в одну роль и запрещаем себе беспокоиться о том, как нас видят через призму других наших ролей. Существует стандартная схема, в соответствии с которой происходит такое запрещение. Оно называется клеймение.

Допустим, я – торговец поддержанными автомобилями и это дело значит для меня больше всего на свете. Если мои родственники, люди из моего прихода и клуба ставят на мне клеймо человека с темной репутацией только потому, что я продаю поддержанные машины, я могу справиться с этим, порвав отношения взаимозависимости с этим людьми и найдя убежище в субкультуре торговцев поддержанными автомобилями. Если я чернокожий юноша, состоящий в банде, и все кругом клеймят меня как бандита, вероятнее всего я отгорожу себя от этих «всех». Я даже могу пойти дальше: мне не просто будет все равно, что думают обо мне учителя и родственники – из чувства обиды я начну совершать поступки, противоположные тем, которые могли бы вызвать их одобрение. Иными словами, клеймение не только закрывает увеличившиеся в структурно дифференцированном обществе возможности внушать и воспринимать стыд, но и способно создать субкультуры, где стыдным считается *соблюдение* законов. Более подробно роль клеймения в образовании криминальных субкультур мы обсуждали в «Преступлении, стыде и воссоединении». Здесь я хотел только указать на то, что упадок силы внушения стыда не является структурно неизбежным в урбанизированном индустриальном обществе. Город Токио есть тому подтверждение. Как и японские, китайские и еврейские общины с тех американских городов, которые больше других кишат насилием. Даже в Нью-Йорке лучшей защитой для граждан является не полиция, но любящие семьи, действительно распределяющие порицание. Модернизация не влечет за собой неумолимого движения в сторону общества, где внушение чувства стыда имеет меньше силы. По мере большей дифференциации ролей в обществе потенциал эффективного внушения стыда во многих важных аспектах увеличивается, равно как увеличивается и потенциал клеймения, которое препятствует воссоединяющему стыду. В индустриальном городе, в отличие от деревни, существует больше возможностей для существования и сохранения изолированных субкультур, противостоящих основной культуре. Не стоит и говорить, что это есть одновременно и источник важных благих и творческих начинаний, порождаемых городской жизнью, и источник жестоких и деструктивных начинаний.

Однако общество, ставящее крест на внушении стыда, не способно уже к совершению политического выбора в пользу мобилизации против всего жестокого и деструктивного. Оно также теряет возможность сдерживать тех, кто бы попирает права граждан, желающих быть отличными от других, не принося им при этом вреда (Braithwaite, готовится к

печати). В обществе, в котором граждане не испытывают гордости за уважение к правам других и стыда за попираание этих прав, права будут защищаться лишь в тех крайне редких случаях, когда те, кто обладает богатством и влиянием, будут доказывать эти права в суде. По крайней мере, такая точка зрения отстаивается в «Преступлении, стыде и воссоединении».

Заключение

До XVII века, до того времени, когда такая страна, как Англия, с зарождающейся парламентской демократией, смогла стать крупнейшей державой, во всем мире бытовало мнение, что деспотизм есть ключ к силе и экономической мощи. «Свобода была роскошью, которой могли наслаждаться такие небольшие сообщества, как Швейцарские кантоны и Семь провинций (Голландия)» (Trevelyan 1985: 72). Сейчас, в XX веке мы мучаемся из-за такого же упрощенного взгляда на неформальный социальный контроль. Многие политики считают неформальной социальный контроль роскошью, которую могут себе позволить только небольшие общины для того, чтобы защитить суверенитет своих граждан. В крупных же индустриализированных государствах нет иного выбора, кроме как отказаться от коммунитарности и пожертвовать свободой в пользу сильной централизованной системы формального социального контроля.

В этой статье я лишь ставил перед собой цель подвергнуть сомнению пессимизм в отношении роли сообществ в современном индустриализованном мире. В действительности мы очень мало знаем об истории стыда на Западе, не говоря уже об остальном земном шаре. Однако известного нам вполне достаточно для того, чтобы отвергнуть утверждение о существовании однонаправленной тенденции в сторону снижения действенности внушения чувства стыда по мере модернизации общества. Как нам известно, некоторые наиболее важные типы преступного поведения в настоящее время более постыдны, нежели они были раньше, даже в недалеком историческом прошлом. Мы справедливо сетуем на то, что в современном мире не подвергаются позору корпоративные преступники, совершающие преступления против окружающей среды, и мужья, подвергающие своих жен физическому насилию. И мы верно определяем, что подобные преступления своими структурными и культурными корнями уходят глубоко в идеологию эксплуататорства и патриархата. Но нам известно при этом, что руководители промышленных предприятий в настоящее время более уязвимы для внушения стыда за преступления против окружающей среды, чем они были всего лишь двадцать пять лет назад, до расцвета экологического движения (McAlister 1991). Мы знаем также, что, несмотря на все еще существующую ограниченность внушения стыда со стороны приверженцев феминизма, приведенное ниже описание свободного от стыда мужского насилия в Англии XV века, не может считаться точным описанием современной ситуации (см. также Beattie 1984: 41-3): «Бить жену считалось правом мужчины, которым пользовались, не считая это постыдным, все, независимо от положения. Дочь, отказывающуюся выйти замуж за мужчину, выбранного родителями, швыряли в комнату,

где ее заперли и били. И это вовсе не должно было потрясти общественное мнение» (Trevelyan 1985: 196). Сложно сказать, является ли сейчас избиение жен и дочерей менее распространенным. Но что можно утверждать наверняка – эти случаи связываются теперь с бóльшим стыдом. В 1992 году в английском городе уже не поставят позорный стул для наказания сварливых жен. В конце XX века это навлекло бы позор, жестокие мужья дисциплинируют своих жен тайно, скрываясь от осуждающего взгляда других.

Не так легко выступать в поддержку политической борьбы за урбанистическую республику, в которой общественное порицание проникало бы сквозь частные владения тех, кто вершит насилие по отношению к другим, и в то же время не нарушались права граждан на неприкосновенность частной жизни. Это не легко, не было бы настоящей трагедией, если бы мы вообще отказались от такой борьбы, уверовав, что социальное осуждение есть нечто, что осталось в старой крестьянской деревне.

Список литературы

- BEATTIE, J. M. (1984), 'Violence and Society in Early Modern England', in A. Doobar and E. Greenspan, eds., *Perspectives in Criminal Law*. Amora: Canada Law Book Co.
- BENSON, M. L. (1989), 'Emotions and Adjudication: A Study of Status Degradation Among White-Collar Criminals', unpublished paper, Dept. of Sociology, University of Tennessee.
- BRAITHWAITE, J. (1989), *Crime, Shame and Reintegration*. Melbourne: Oxford University Press.
- (forthcoming), 'Inequality and Republican Criminology', in John Hagan and Ruth Petersen, eds., *Crime and Inequality*. Stanford: Stanford University Press.
- BURROUGH, B., and HELYAR, J. (1991), *Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco*. New York: Harper.
- CHECKLAND, S. G., ed. (1974), *The Poor Law Report of 1834*. Harmondsworth: Penguin.
- CLARKE, M. (1986), *Regulating the City: Competition, Scandal and Reform*. Milton Keynes: Open University Press.
- COLEMAN, J. S. (1990), *Foundations of Social Theory*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- DUERR, H. P. (1988a), *Nacktheit und Scham: Der Mythos Vom Zivilisationsprozess, Band 1*. Frankfurt: Suhrkamp.
- (1988b), *Intimät: Der Mythos Vom Zivilisationsprozess, Band 2*. Frankfurt: Suhrkamp.
- ELIAS, N. (1978), *The Civilizing Process: The History of Manners*, trans. Edmund Jephcott. Oxford: Blackwell.
- (1982), *State, Formation and Civilization: The Civilizing Process*, trans. Edmund Jephcott. Oxford: Blackwell.
- FORSYTHE, W. (1991), *Penal Discipline, Reformatory Projects and the English Prison Commission, 1895–1939*. Exeter: University of Exeter Press.
- FOUCAULT, M. (1971), *Madness and Civilization*. New York: Mentor Books.
- (1977), *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. London: Alien Lane.
- GARLAND, D. (1985), *Punishment and Welfare*. Aldershot: Gower.
- (1990), *Punishment and Modern Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- GOFFMAN, E. (1956), 'Embarrassment and Social Organization', *American Journal of Sociology*, 62:264-71.
- GRABOSKY, P., and BRAITHWAITE, J. (1986), *Of Manners Gentle: Enforcement Strategies of Australian Regulatory Agencies*. Melbourne: Oxford University Press.
- GURR, E. R. (1980), 'Development and Decay: Their Impact on Public Order in Western History', in James A. Inciardi and Charles E. Faupel, eds., *History and Crime*. Beverly Hills: Sage.
- (1984), 'Historical Trends in Violent Crime: A Critical Review of the Evidence', in M. Tonry and N. Morris, eds., *Crime and Justice*, vol. 3. Chicago: University of Chicago Press.
- HAWKINS, K. (1984), *Environment and Enforcement: Regulation and the Social Definition of Pollution*. Oxford: Clarendon Press.
- HAY, D. (1975), 'Property, Authority and the Criminal Law', in D. Hay, P. Linebaugh, J. G. Rule, E. P. Thompson, and C. Winslow, eds., *Albion's Fatal Tree*. London: Alien Lane.
- HOWE, D. (1976), 'Victorian Culture in America', in D. Howe, ed., *Victorian America*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- LYND, H. M. (1958), *On Shame and the Search for Identity*. London: Routledge and Kegan Paul.
- MCALLISTER, I. (1991), *Community Attitudes to the Environment, Forests and Forest Management in Australia*. Canberra: Resources Assessment Commission.
- RAMSAY, M. (1982). 'Two Centuries of Imprisonment', *Home Office Research Bulletin* 17: 39–41.
- REDFIELD, R. (1947), 'The Folk Society', *American Journal of Sociology*, 52: 293–308.
- SCHEFF, T. J. (1988), 'Shame and Conformity: The Deference-Emotion System', *American Sociological Review*, 53: 395-406.

- (1990), *Microsociology: Discourse, Emotion and Social Structure*. Chicago: University of Chicago Press.
- SPIERENBURG, P. (1984), *The Spectacle of Suffering*. Cambridge: Cambridge University Press.
- STEARNS, C. Z., and STEARNS, P. N. (1986), *Anger: The Struggle for Emotional Control in America's History*. Chicago: University of Chicago Press.
- STEDMAN, JONES, G. (1984), *Outcast London: A Study in the Relationships Between Classes in Victorian Society*. Harmondsworth: Penguin.
- STONE, L. (1977), *The Family, Sex and Marriage in England, 1500–1800*. London: Weidenfeld and Nicolson.
- THOMPSON, E. P. (1975), *Whigs and Hunters*. London: Alien Lane.
- THOMPSON, F. M. L. (1988), *The Rise of Respectable Society: A Social History of Victorian Britain, 1830–1900*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- TÖNNIES, F. (1887), *Community and Society*. New York: Harper and Row.
- TREVELYAN, G. M. (1973), *English Social History: Chaucer to Queen Victoria*. London: Book Club Associates.
- (1985), *A Shortened History of England*. Harmondsworth: Penguin.
- VAN KRIEKEN, R. (1989), 'Violence, Self-Discipline and Modernity: Beyond the Civilizing Process', *The Sociological Review*, 37: 193–218.
- WECHSBERG, J. (1966), *The Merchant Bankers*. Boston: Little, Brown.
- WEISSER, M. R. (1979), *Crime and Punishment in Early Modern Europe*. Brighton: Harvester.
- WILLETT, T. C. (1964), *Criminal on the Road: A Study of Serious Motoring Offences and Those Who Commit Them*. London: Tavistock.
- WILSON, J. Q. and HERRNSTEIN, R. (1985), *Crime and Human Nature*. New York: Simon and Schuster.